

ДАГОН

Я пишу в необычном душевном состоянии, потому что вечером меня не станет. Без гроша в кармане, без лекарства, которое только и может делать мое существование сносным, я не могу терпеть пытку жизнью и выпрыгну из окна на убогую улицу. Не считайте меня слабовольным или дегенеративным из-за моей зависимости от морфия. Когда вы прочитаете эти наспех написанные страницы, то, наверное, поймете, хотя вряд ли поймете до конца, почему произошло так, что я должен или забиться, или умереть.

Это случилось в одном из самых необъятных и редко посещаемых участков Тихого океана. Пакетбот, на котором я был вторым помощником капитана, стал жертвой немецкого рейдера. Война только начиналась, и морские силы гуннов еще не совсем деградировали, так что наше судно стало их законным трофеем, а мы, то есть команда, — пленниками, к которым относились со всевозможным вниманием и уважением. Наши захватчики оказались столь беззаботны, что не прошло и пяти дней, как мне удалось ускользнуть на маленькой шлюпке с достаточным запасом пищи и воды.

Когда я остался один в открытом море, то имел весьма смутное представление о том, где нахожусь. Навигатор из меня неважный, поэтому по солнцу и по звездам я лишь приблизительно определил свое местоположение чуть южнее экватора. О долготе я не знал ничего, и в поле моего зрения не было ни одного острова, не говоря уж о материке. Погода стояла хорошая, и не помню, сколько дней я плыл без всякой цели под обжигающим солнцем в ожидании увидеть ка-

кой-нибудь корабль или обитаемую землю. Однако ни корабля, ни земли не было, и я начал впадать в отчаяние от своего одиночества в бескрайней синеве.

Перемена наступила, пока я спал, и мне никогда не узнать, как все было, потому что мой беспокойный, тревожимый кошмарами сон оказался долгим. Когда же я наконец проснулся, то обнаружил, что тону в вязком черном болоте, которое, как исчадие ада, раскинулось, сколько хватало глаз, а моя лодка неподвижно застыла довольно далеко от меня.

Нетрудно представить, как я должен был изумиться такой чудовищной и неожиданной перемене пейзажа, но на самом деле я больше испугался, чем удивился, потому что и в воздухе, и в гнили я чувствовал нечто зловещее, от чего у меня стыла кровь в жилах. Кругом все было усеяно костями разложившихся рыб и другими менее годными для описания предметами, которые торчали из отвратительной бескрайней слякоти. Нечего и надеяться, что мне удастся словами передать неопишемую бесплодную неохватную мерзость, существовавшую в абсолютной тишине. Я ничего не слышал и ничего не видел, кроме черного липкого ила, и этот тихий гомогенный пейзаж подавлял меня, внушая тошнотворный страх.

Солнце ослепительно сверкало в небе, которое показалось мне почти черным в своей безоблачной жестокости, словно оно отражало чернильное болото у меня под ногами. Когда я вполз в лодку, то сообразил, что только одна теория может объяснить мое тогдашнее положение. Благодаря какому-то беспрецедентному вулканическому извержению дно океана поднялось наверх, выставив напоказ то, что миллионы лет было скрыто в его бездонных глубинах. Причем поднялось оно основательно, так как я не слышал ни малейшего движения волн, сколько ни напрягал слух. Не было здесь и морских охотников, охочих до падали.

Несколько часов, пока солнце медленно пересекало небо, я, размышляя таким образом, провел в лодке, которая лежала на боку и давала немного тени. Понемногу грязь подсыхала и в недалеком будущем должна была стать вполне проходимой. Ночью я спал, но мало, а на другой день приготовил что-то вроде мешка для пищи и воды и стал ждать, когда можно будет начать поиски пропавшего моря и возможного спасения.

На третье утро земля совсем высохла. От рыб стояла ужасающая вонь, однако мои мысли были заняты куда более серьезными вещами, чтобы обращать на это внимание, и я смело отправился к неведомой цели. Весь день я упорно двигался на запад в направлении довольно высокого холма вдалеке, который был выше остальных в этой пустыне. Ночью я отдыхал, а утром опять шел в направлении холма, хотя он почти не приблизился со вчерашнего дня. На четвертый вечер я был у его подножия, и он оказался куда выше, чем можно было предположить изначально. От меня его отделяла долина, из-за которой он еще резче контрастировал с остальным пейзажем. Слишком усталый, чтобы лезть вверх, я заснул в его тени.

Не знаю, почему в ту ночь меня мучили жуткие сны, но вскоре над оставшейся на востоке равниной встала ущербная и на удивление выпуклая луна, и, проснувшись в холодном поту, я решил больше не спать. Посетившие меня кошмары были такие, что у меня не появилось желания вновь их увидеть. В свете луны я понял, как неразумно поступал, путешествуя днем. Мои переходы стоили бы мне меньшего труда в отсутствие обжигающего солнца, к тому же я вдруг ощутил в себе силы подняться на вершину, испугавшую меня на закате дня, и, подобрав мешок, двинулся в путь.

Я уже говорил, что монотонный холмистый пейзаж внушал мне непонятный ужас, однако, насколько я помню, он стал еще сильнее, когда я залез на вершину и заглянул в бездонную яму или каньон с другой стороны горы, черные глубины которого луна была не в силах одолеть. Мне показалось, что я стою на краю земли и заглядываю в непостижимый хаос вечной ночи. Забавно, но мне вспомнился «Потерянный рай» и как сатана карабкается там по ночным кручам.

Луна поднималась все выше, и привидевшаяся мне крутизна уже меня не пугала. Там было вполне достаточно уступов, чтобы обеспечить безопасный спуск, а через пару сотен футов склон вообще стал совершенно пологим. Побуждаемый непонятными даже мне самому мотивами, я не без труда спустился со скалы и заглянул в стигийские глубины, куда не достигал свет.

Почти сразу мое внимание привлекло нечто на противоположном крутом склоне примерно в сотне футов от меня. Этот

одинокий и довольно большой предмет светил белым светом в лучах восходящей луны. Я постарался уверить себя, что вижу обыкновенный, хотя и очень большой, камень, однако сразу и отчетливо осознал — и сам он, и его положение на склоне горы дело рук не одной природы. Более пристальный осмотр наполнил меня чувствами, которые я не могу описать, ибо, несмотря на исполинские размеры и пребывание в пропасти на морском дне с тех самых времен, когда мир был еще молод, камень, вне всякого сомнения, представлял собой отличной формы монолит, который познал на себе искусство и, может быть, поклонение живых и мыслящих существ.

Одновременно испуганный и взволнованный, как это бывает с учеными или археологами, я более пристально взгляделся в то, что меня окружало. Приблизившаяся к зениту луна таинственно и ярко светила над высокими кручами, которые были окружены глубокой расселиной, подтверждая тот факт, что основная масса воды находилась в глубине и, растекаясь в разных направлениях, едва не лизала мои ноги. С другой стороны расселины волны омывали подножие циклопического монолита, на поверхности которого я уже разглядел надписи и грубые скульптуры. Надписи были сделаны незнакомыми и не похожими ни на какие виденные мною в книгах иероглифами, в основном состоявшими из обыкновенных водных символов — рыб, угрей, спрутов, раков, моллюсков, китов и всего остального в том же роде. Несколько символов представляли неизвестные современному миру морские формы, которые я уже видел на поднятом со дна иле.

Резьба поразила меня красотой и необычностью. По другую сторону разделяющих нас вод я отлично видел очень большие барельефы, которые непременно вызвали бы зависть Доре. Думаю, они изображали человека, по крайней мере подобие человека, хотя эти существа резвились, как рыбы в каком-то морском гроте, или молились на монолитное святилище, тоже глубоко под водой. Я не смею подробно описывать их лица и тела, потому что от одного лишь воспоминания едва не лишаюсь чувств. Придумать такое было бы не под силу даже По и Булверу. Общим обликом они чертовски походили на людей, несмотря на перепончатые руки и ноги, невероятно большие и мягкие губы, стеклоподобные

выпученные глаза и другие черты, менее приятные для воспоминаний. Довольно странно, что они были изображены непропорционально своему фону и окружению, например, в одной из сцен это существо убивало кита, который был совсем ненамного больше его. Я обратил внимание, как я уже сказал, и на их фантастичность, и на их огромность и вскоре решил, что вижу воображаемых богов одного из примитивных приморских племен, последний представитель которого сгинул задолго, за много веков до появления неандертальца. Пораженный этим неожиданным проникновением в прошлое, которое недоступно даже самому смелому антропологу, я пребывал в смятении, а луна тем временем высвечивала для меня странные изображения.

Неожиданно я увидел его. Слегка вспенив воду, оно поднялось над ее темной поверхностью прямо передо мной. Огромное, словно Полифем, отвратительное, громадное чудовище из кошмарного сна метнулось к монолиту, обвило его гигантскими чешуйчатыми руками и, опустив голову, дало волю каким-то непонятым словам. Мне показалось, что я схожу с ума.

Почти не помню, как я спускался с горы и как бежал обратно к лодке. Кажется, я много пел и смеялся, когда уже не мог петь. Смутно вспоминаю довольно сильный шторм, который начался вскоре после того, как я возвратился к лодке, по крайней мере я уверен, что слышал раскаты грома и все остальное, чем природа выражает свою ярость.

Разум вернулся ко мне в больнице в Сан-Франциско, куда меня доставил капитан американского корабля, заметивший посреди океана одинокую лодку. В бреду я много разговаривал, однако на мои слова почти не обращали внимания. Ни о каком извержении в Тихом океане мои спасители ничего не знали, а я не видел смысла настаивать на том, во что они все равно не смогли бы поверить. Однажды я разыскал известного этнографа и напугал его необычными вопросами о старинной легенде филистимлян, в которой рассказывается о Дагоне, боге-рыбе, но вскоре я понял, что он безнадежно нормальный человек, и оставил его в покое.

По ночам, особенно когда светит ущербная и выпуклая луна, он постоянно является мне. Я попробовал морфий.

Наркотик подарил мне временное облегчение, зато теперь я его вечный и отчаявшийся раб.

Пришла пора покончить с этим, тем более что я написал подробный отчет о происшедшем для ознакомления или развлечения моих приятелей. Часто я спрашиваю себя, а не было ли все это чистойшей фантасмагорией — лихорадочным бредом бежавшего из немецкого плена и перегревшегося на солнце человека? Так я спрашиваю себя, и тогда ко мне приходит отвратительное видение. Без содрогания я не могу даже думать о море, так как тотчас вспоминаю безымянных существ, которые, возможно, в это время ползают и барахтаются в вязком болоте, поклоняются древним каменным идолам или вырезают свои отвратительные подобию на подводных обелисках из мокрого гранита. Я вижу в снах тот день, когда они восстанут из глубин и утащат в своих вонючих когтях остатки хилого, изможденного войной человечества. Я вижу в снах тот день, когда земля утонет, а черное дно океана и адское подземелье окажутся наверху.

Конец близок. Снаружи слышен шум, словно в дверь бьется большое и необычно скользкое существо. Ему меня не достать. Боже, *рука!*

Окно! Окно!

ГРОБНИЦА 1917

В связи с обстоятельствами, приведшими к моему заключению в стенах этого приюта умалишенных, я сознаю, что мое нынешнее положение посетят естественные сомнения в подлинности моей истории. К несчастью, внутренний взор большинства людей чересчур затуманен для того, чтобы пытливо и рассудительно внимать тем скрытым явлениям, что лежат за гранью обыденного, и наблюдать которые — удел лишь тех немногих, что одарены психически. Обладая недюжинным интеллектом, они знают о зыбкости границ меж реальностью и вымыслом, и что все, нас окружающее, является лишь плодом нашего тонкого осознанного восприятия, но прозаический материализм толпы клеймит безумием

те вспышки прозрения, что разрывают завесу эмпирически очевидного.

Имя мое Джервас Дадли, с молодых ногтей я был мечтательным сновидцем. Достаток мой позволял не заботиться о доходах, а склад ума не располагал ни к овладению науками, ни к увлечениям, присущим тем, кого я знал; обитая в пределах, лежащих вне видимого глазу мира, я проводил свои юные годы за чтением древних и редких фолиантов, скитаясь в рощах и полях близ отчего дома. Не думаю, что открывшееся мне в тех томах и увиденное в тех полях и рощах совпало бы с тем, что могли видеть мои сверстники, но сказать нечто большее — значит напитать злых клеветников, чьи сплетни о ясности моего ума изредка слышатся в шепоте моих незримых слуг. Мне нет нужды искать причины явлений, связь между которыми ясна. Упомянув, что обитель моя лежала в отстранении от мира, я умолчал о том, что был не одинок. Обычному человеку не под силу такое существование, ведь, отдаляясь от всего бренного, он неизбежно привлекает внимание созданий немертвых или тех, в ком больше не теплится жизнь.

Близ моего имения есть уединенная, поросшая лесом лощина, в сумрачной глубине которой я проводил так много времени в чтении, раздумьях и мечтах. Еще ребенком я делал первые шаги по ее замшелым склонам, и в гротескной вязи дубов плелись мои мальчишеские выдумки. Мне были знакомы дриады, обитавшие среди тех ветвей, и часто я был свидетелем их диких плясок в слабеющих лучах ущербной луны — но большего о том я говорить не должен. Скажу лишь об уединенной гробнице в глухой чашобе на склоне холма, заброшенном захоронении Хайдов, старинного и благородного семейства, чей последний прямой потомок упокоился в ее черных глубинах за много десятилетий до моего рождения.

Склеп, упомянутый мной, создан из древнего гранита, выветрившегося и обесцвеченного под властью туманов и влагой веков. Его высекли в скальной глубине, и снаружи виднелся лишь вход. Дверь, тяжеловесная, неприступная каменная плита, свисала на проржавевших железных петлях, пугающе приоткрытая, в оковах цепей и запоров, в согласии с отталкивающей модой полувековой давности. Жилище рода, чьи потомки пребывали здесь, некогда венчало вершину могильного

холма, но сгнуло в пламени пожара, когда в него ударила молния. О той полуночной буре, что уничтожила этот мрачный кров, старожилы шепчут, пугливо озираясь, как о «гневе господнем», и это лишь подогревало мою и без того неумную тягу к усыпальнице во мраке леса. В огне погиб лишь один мужчина. Когда сгорело поместье, все семейство покинуло эти края, и наконец, урна с печальным прахом последнего из Хайдов прибыла из дальней земли с тем, чтобы навеки быть погребенной среди молчания тьмы. Некому было возложить цветы у гранитного портала и встревожить медлительный сумрак теней, поселившийся на источенных влагой камнях.

Мне никогда не забыть тот день, когда я обнаружил этот потаенный приют мертвых. То было среди летней поры, когда алхимия природы превращает леса в одно сплошное пышное буйство зелени, когда все чувства почти что захлебываются в нахлынувшей влаге ее океанов и едва слышимых ароматах земли и трав. В окружении подобного рассудок туманится, время и пространство теряют значимость и смысл, и отзвуки забытого доисторического прошлого настойчиво стучатся в плененное сознание.

Целый день я блуждал тайными тропами в лощине, в мыслях о неназываемом, беседуя с безымянными создани-ями. В десять лет моим взору и слуху уже открылось столько удивительного, неизвестного никому, что в некотором смысле я уже не был несмышленным ребенком. Пробравшись меж двух кустов шиповника, я вдруг наткнулся на что-то, доселе неизвестное мне, на вход в подземелье. Темный гранит, манящая приоткрытая дверь, траур резьбы над аркой не ужаснули и не опечалили меня. Я много знал о могилах и гробницах, но благодаря своеобразию моего темперамента меня держали в отдалении от некрополей и кладбищ. Причудливое каменное строение на склоне холма пробудило во мне интерес и любопытство, его прохладное, влажное нутро, в которое я с тщетой воззрелся сквозь дверную щель, не содержало ни единого намека на смерть либо тлен. Но тот самый миг любопытства породил во мне безумство безрассудного желания, которое и привело меня в этот ад заточения. Подстрекаемый голосом, что, должно быть, исходил из ужасных лесных глубин, я искал способа войти

в мнящий мрак, сотрясая тяжкие цепи, преградившие путь. В гаснущем свете дня я перебирал их ржавые звенья, стремясь расширить существующий проем и протиснуть в него свое худое тело, но потерпел неудачу. Мой интерес сменила одержимость, и вернувшись домой в сгушавшихся сумерках, я поклялся сотне лесных богов, что любой ценой проникну в черные, холодные глубины, взывавшие ко мне. Седобородый врач, ежедневно посещающий меня, сказал однажды моему гостю, что то решение положило начало моей достойной жалости мономании, впрочем, положусь на милость читателей, когда они узнают все до конца.

Месяцы после той находки я проводил в бесплодных попытках взлома причудливого замка у приотворенной двери склепа, с осторожным тщанием изучая его историю и происхождение. Чуткий мальчишеский слух подсказал мне многое, но привычная осмотрительность не позволяла делиться своими открытиями и выводами. Стоит, пожалуй, упомянуть, что я не удивился и не был напуган тем, что узнал. Мое относительно оригинальное восприятие жизни и смерти порождало странные ассоциации меж холодом глины и телесным теплом, и я ощущал присутствие величественного и отталкивающего рода из сгоревшего поместья среди каменных стен, к которым так стремился. Смутные слухи о странных ритуалах и богохульных пиршествах минувших лет среди древних стен с новой силой разожгли мою страсть, и я, бывало, каждый день часами сживал у двери гробницы. Однажды я осветил проем в двери свечой, но увидел лишь влажные камни ступеней, что вели вглубь земли. Отталкивающий запах очаровывал меня. Я чувствовал, что он знаком мне, сквозь бесчисленные года минувшего, что знал его до того, как занять это тело.

Спустя год после первой встречи с гробницей я наткнулся на изъеденный червями перевод «Жизнеописаний» Плутарха на своем забитом книгами чердаке. Читая о подвигах Тесея, я впечатлился рассказом о скале, под которой скрывались предназначенные ему меч и сандалии, пока он не наберется сил, чтобы совладать с ней. Легенда охладила мой пыл, дав мне знак, что мое время войти в гробницу еще не пришло. Придет тот час, сказал я себе, когда и я стану достаточно силен и умен,

чтобы с легкостью сорвать те тяжкие оковы, но до тех пор мне стоило бы отдаться на волю судьбы.

Мои бдения у отсыревшего портала стали менее частыми, и большую часть времени теперь я проводил в иных, не менее странных исканиях. Иногда я бесшумно вставал с постели, и крадучись, уходил на кладбища, от которых меня держали подальше родители. Не стану говорить о том, что делал там, поскольку и сам не уверен в реальности происходившего, но после своих ночных походов я порой ошеломлял всех вокруг своими знаниями о том, что давно стерлось из памяти поколений. После одной из подобных ночей я привел в ужас всю округу своими откровениями о погребенном богате, известном и почитаемом в этих землях сквайре Брюстере, похороненном в 1711-м, чье сланцевое надгробье с черепом и скрещенными костями медленно рассыпалось в прах. В миг детского озарения я провозгласил, что гробовщик Гудмэн Симпсон украл ботинки с серебряными пряжками, шелковые чулки и атласное белье покойного перед похоронами, а сам сквайр, еще живой, дважды перевернулся в гробу под землей в день после погребения.

Но мысль о посещении гробницы так и не покинула меня, подпитываемая неожиданным открытием: мое семейство по материнской линии было связано с родом Хайдов, считавшимся прерванным. Последнее дитя в своей семье, я также являлся их последним отпрыском, наследуя этой древней и загадочной династии. Я ощущал, что гробница принадлежала мне, и ждал с горячим нетерпением, когда, минуя каменную дверь, сойду во мрак по отсыревшим ступеням. В привычку вошли мои бдения у портала, когда я чутко вслушивался в полуночный покой. Близилось мое совершеннолетие, и к тому времени я сумел расчистить небольшую прогалину в кустарнике у заплесневелого фасада на склоне, позволив растительности сплестись над ним, обрзав подобие укывища со стенами и потолком из ветвей. Приют этот стал моим храмом, запертая дверь моим алтарем, и здесь я простирался на мшистой земле, а разум мой полнился необычными идеями и странными видениями.

Первое откровение я получил в душной ночи. Должно быть, усталость смежила мне веки, и я пробудился от ясно

звучавших голосов. Не знаю, говорить ли об их тонах и акцентах, о том, *как* звучали они, но было в тех словах что-то пугающее: в произношении, в самой манере речи. Каждый оттенок диалектов Новой Англии, от грубой неотесанности пуританских колонистов до изящества риторики, звучавшей полвека назад, был слышен в той потаенной беседе, хотя я осознал это лишь позже. Тогда же внимание мое поглотил иного рода феномен, столь мимолетный, что я усомнился в его реальности. Лишь краем глаза уловил я, что с моим пробуждением в гробнице спешно погасили свет. Увиденное не изумило меня и не ввергло в панику, но той ночью я переменялся навсегда и невозвратно. По возвращении домой я уверенной поступью направился к прогнившему сундуку на чердаке, откуда забрал ключ, что на следующий день открыл передо мной преграду, столь долго томившую меня.

В мягких лучах на закате дня я впервые ступил под своды гробницы на склоне холма. Я был словно под властью чар, а сердце мое наполнилось неопишуемым ликованием. Затворив за собой дверь, спускаясь по сырým ступеням в свете единственной свечи, я, казалось, знал путь, и хоть свеча мигала в спертом воздухе подземелья, среди стен этой затхлой гробницы я был как дома. Вокруг я видел множество мраморных плит, увенчанных гробами или их останками. Какие-то остались нетронутыми, иные же почти что рассыпались, и серебро их ручек и пластин покоилось среди белесого праха. На одной из пластин я прочел имя сэра Джеффри Хайда, прибывшего из Сассекса в 1640-м и упокоившегося здесь несколько лет спустя. В приметной нише стоял хорошо сохранившийся и незанятый гроб, имя на котором я прочел с улыбкой, но содрогнувшись. Внезапный порыв побудил меня взобраться на широкую плиту, загасить свечу и занять место в пустующем гробу.

В серых лучах зари я, шатаясь, выбрался из подземелья, закрыв замок на цепи. Я более не был юнцом, хоть всего лишь двадцать один раз зимние морозы холодили мое тело. Окрестные жители, поднявшиеся на рассвете, наблюдали за мной с отчуждением, пока я следовал к дому, дивясь следам разнузданного празднества на моем лице, что некогда было лицом человека уединенного и умеренного. Я не показывался